



Художник С. Дергачев

Кто найдет, того и будет

Алла Гореликова

Два года назад... или три? Время спуталось, смешалось — то не-
сется, то тянется, и трудно поверить, что недавно просто жили...

Конфетная фольга под зеленым осколком бутылочного стекла. Зе-
леные Тонькины глазищи под жидкой белобрысой челкой.

— Вот. Просто ты должен найти. А я — твою.

Игорь вертит в пальцах свой осколок. Коричневый. Долго такой ис-
кал: большей частью бесцветные попадают, ну еще зеленые, поре-
же... Отмыл — аж сверкает, и так здорово глядеть сквозь него на небо.
Странные игры в Тонькином дворе. Глупо верить в такую чушь, но
пускай. Раз Тонька хочет...

— Ладно. Давай, сделаю.

Тонька достает из кармана аккуратно свернутый фантик. С фольгой.

— Только знаешь, Тонь! — Игорь продирается через кусты сирени в глубину палисадника, сухой веткой рыхлит землю между змеистыми корневищами желтых ирисов. — Если я хочу, чтоб ты нашла, зачем же я от тебя прятать буду?

Фантик, фольгой вверх, аккуратно укладывается в ямку. Игорь, задержав дыхание, колет палец острым краем своего осколка. Капелька крови расплывается по стеклу.

— Что говорить?

Тонька подсказывает скороговоркой:

— Кто найдет — заберет, твое сердце возьмет, навеки спрячет.

Стеклышко вжимает фольгу в землю, ложится плотно — как тут и было, давно, с самого начала Земли. Заблудившийся в сирени ранний солнечный луч дробится карими искорками. Тонька садится на корточки, худые пальцы с обгрызенными ногтями торопливо расширяют ямку рядом с коричневым окошком. Ойкает, добыв капельку крови. Зеленое стеклышко тулится к коричневому. Тоньке хочется прикоснуться к Игорю. Но она, быстро-быстро повторяя затверженный наговор, присыпает тайничок землей, разравнивает, нагребает сверху прошлогодней листвы.

— Помни, это секрет.

Игорь пожимает плечами. Пусть будет секрет, раз Тоньке хочется. Ради того, что считаешь пустяком, не станешь подниматься на рассвете.

Когда ветер южный, до города долетает канонада. С каждым днем все громче. Когда ветер северный, канонады почти не слышно, но город затягивается едким дымом: на станции который день догорают склады. Тушить некому. От станции, говорят, остались груды кирпича и месиво железок. Уехать из города теперь нельзя — кто не успел, тот опоздал. Некоторые, правда, уходят пешком. Катят нагруженные пожитками тачки, детские коляски, велосипеды.

Тонькина мать, глядя на беженцев, поджимает губы, цедит: — Глупо.

А почему глупо — не объясняет.

Тонька теперь встает до света. У нее расписание: понедельник, среда, пятница — булочник, вторник и суббота — молочник, а четверг — бакалея. Везде очереди. Мать задерживается в госпитале допоздна, а то и на ночь остается. Ей не до магазинов, да и не до Тоньки. Но зато их там кормят, и продукты из материнной пайки Тонька складывает про запас. Бабульки в очередях утверждают, что пайку вот-вот урежут.

Иногда Тонька сворачивает в палисадник, разгребает рылую землю между корневищами ирисов и всматривается в карие искорки. Совсем как его глаза. Ты живой, я знаю, думает Тонька. Торопливо разравнивает землю над тайничком и бежит дальше.

Когда мальчишек собирают рыть окопы, это нормально: каждая пара рук пригодится. Но когда потом им раздадут винтовки — задумаешься.

И если в мысли твои прокрадется хоть капля оптимизма — все с тобой ясно: в голове или солома, или пропаганда. Оба случая неизлечимы.

Игорю нет дела до пропаганды. Свои мозги на месте, да и глаза тоже. Видно же, сколько на спешно открытых позициях бойцов, а сколько ополченцев. И каких ополченцев. Но...

Можно плевать на пропаганду, на ежевечерние политинформации, даже на высокопарное «долг перед Родиной». И все-таки можно упереться в этом тесном, тобою же вырытом окопчике, врасти в него, вцепиться в землю — и стрелять, пока остаются патроны. А потом подняться и пойти вслед за надоевшим до оскомины политруком в безнадежную штыковую.



ФАНТАСТИКА

Потому что ты помнишь зеленые Тонькины глазищи под белобрысой челкой, худые пальцы с обгрызенными ногтями, глупую дворовую скороговорку: «Кто найдет — заберет, твое сердце возьмет...»

Смешно верить, но пусть. Так легче. Два ярких фантика, два стеклышка, две капельки крови. Две души, две жизни. Одна любовь... Глупо, но пусть. Пусть будет именно это слово. Любовь. Так легче.

День выдается безветренный. И беззвучный. Опустившуюся на город тишину разбивает лишь топот сапог. Тонька смотрит сквозь щелку в шторах на солдат в чужой черной форме, пока мать не оттаскивает от окна силой.

Расписание остается прежним: булочник — молочник — бакалея. Только вместо пайковых карточек — чужие деньги. А откуда они, деньги? Мать в госпиталь не ходит «из принципа». И Тонька с этим принципом на все сто согласна.

Сначала продали вещи, кроме самых нужных. Потом, подвез запасы подчистую, пустили квартиранта.

Квартирант работает переводчиком на элеваторе: хлебная должность в самом прямом и верном смысле. Соседки, Тонька как-то услышала, говорили: «Повезло докторше, теперь не заголодает». Тонька тогда только кулаки стиснула, проскочила мимо. Не видят они, как мать по собственной квартире ходит — опустив глаза, ссутулясь, тихо, будто призрак.

Квартирант напоминает Тоньке снулую рыбину: блеклый, с пустым взглядом странно прозрачных глаз, ходит, важно выпятив сытый животик, вытирает клетчатый платком пот с лысины. Фыркает: «Жаркая выдалась осень». Тонька старается не попадаться лишней раз под взгляд рыбьих глаз...

В теплые дни девчонки тянутся во двор. На виду болтаться страшно. Ленка выносит драное одеяло, расстилает в палисаднике за сиренью, девчонки садятся в кружок и шепчутся. Тонька старается сесть спиной к зарослям ирисов, чтоб не выдать слишком частыми взглядами их с Игорем тайничок.

Такие тайнички здесь есть у всех. Но о них не говорят. Кто захочет разрушить неосторожными словами собственную защиту, крохотный домик, хранящий искорку твоей души? Это тайна. А для разговоров есть обычные, настоятельные темы: Вовчика из третьего «а» вчера избил пьяный офицер, в кино крутят хронику, которой очень не хочется верить, а Ленкина мама устроилась посудомойкой и теперь приносит домой поесть, только очень противно.

Иногда Тонька встает пораньше, прокрадывается в палисадник и смотрит на искорки в карем стеклышке. И думает: живой...

Игоря подобрали деревенские. На нем не было ни царапины, и военная полиция, искавшая раненых бойцов, не обратила внимания на дочерна загорелого паренька, сноровисто и явно привычно копавшего огород. Сам Игорь помнил близкий взрыв — и темноту, в которой плавают размытые пятна бутьлочко-зеленого цвета. Как Тонькины глаза.

Ох, Тонька... Глупо, но я верю в сказку твоего двора. Наши жизни, как Кощеева смерть: не так просто взять.

Он хотел идти в город. Отговорили. Мол, без пропуска — только зря пропадешь.

Чужие солдаты расхаживали здесь по-хозяйски. Парней возраста Игоря согнали возить на эlevator зерно. Игорь таскал мешки, чихал от терпкого, перенасыщенного пылью и запахом спелой пшеницы воздуха и думал: одной спички хватило бы. Всего одной спички!

У кого-то из ребят спичка нашлась. Вот только виноватого искать не стали. Закопченный, разъяренный потерей провианта черномундирник (в званиях Игорь не разбирался, но кто-то шепнул: капитан) поставил к стенке всех.

Игорь прислонился затылком к теплому кирпичу. Тонька, я верил в твою сказку. Все это время верил. Любовь — глупое слово, но пусть лучше оно. Как ты там, Тонька?

Выстрелы — из другого мира. Стон рядом тоже. В моем мире — твои зеленые глазки под белобрысой челкой. Два стеклышка, в которых дробится ранний солнечный луч. Глупые девчачьи сказки. Ну и пусть глупые. Плевать. Все равно с ними легче.

Что-то лает на чужом языке капитан. Выстрелы. Кирпичная крошка бьет в лицо, оседает на волосах, на плечах. А небо точь-в-точь такое, каким виделось сквозь коричневый бутылочный осколок. Эlevator догорает. Сухой щелчок осечки. Капитан отшвыривает пистолет, что-то зло цедит сквозь зубы.

— Есть у них такое: трижды чудо — истинное чудо, — объясняет похожий на снулую рыбину переводчик. — Знак. Помилование свыше в твоём случае. Но теперь...

В рыбьих глазах мелькает что-то человеческое, странно по-хожее на сочувствие.

Миха из второй квартиры, тот, что до войны работал на автобазе, а теперь служит в полиции, выперся во двор ближе к вечеру. Пьяный и с пистолетом. Ворон пострелять.

Вороны оказались быстрее Миши, и он, прищурясь и закусив губу, стал целиться в дремавшую возле мусорника кошку.

Тонька с Ленкой сидели на лавочке у подъезда — ждали Ленкину маму.

— Промажет, — сказала Тонька. — Руки трясутся.

И верно, промазал. Вот только...

Ленка в голос охнула, и Тонька поняла — не почудилось. Короткий блеск в фонтанчике жухлой травы и сухой земли. Кружащийся в воздухе кусочек фольги... Бывает же!

— Твой?

— Ага.

— Не бойся, завтра перепрячешь, у меня дома фантики есть, хочешь, пойдем, выберешь? Ничего до завтрашнего утра не случится.

— А Валька?..

На выстрелы во двор забежал патруль. Потолковали о чем-то с Михой, двое таких же шкур продажных, засмеялись. А потом один из них развернулся и вскинул руку.

Два выстрела слились в один. Тонька глядела, как заливает кровь светлую Ленкину кофточку, и казалось — сон. Сон, бред... очнуться бы.

Валька, еще до войны, додумалась сделать тайничок под теплотрассой, и его перемолол бульдозер ремонтников. А Валька попала под машину.

Тонька уже не слышала, как, выходя со двора, стрелявший сказал:

— А по другой-то промазал. Ладно, ее счастье.

— Вот, парни, — сказал впахнувший его в землянку черномундирник, — счастливчика привел.

— Мелковат для сапера, — буркнул кто-то из темноты.

— Я сказал «сапер»? Просто он впереди пойдет. А вы, олухи, след в след.

— А, смертник, — протянул тот же голос. — Ну-ну.

— Говоришь ты много, — брезгливо процедил черномундирник. — Был бы чистенький, не здесь бы служил. Завтра велено высоту взять, так что подорвется этот — тебя первым пушу.

Игоря толкнули в дальний угол. След в след, значит? Ладно. Будет вам, сволочи, след...

Когда ветер северный, до города долетает канонада. Тихо-тихо, издали... месяц, другой... к ней привыкаешь, но все равно каждый день вслушиваешься — не ближе ли стала?

Тонька теперь не выходит на улицу. Страшно, да и незачем. Нетронутый снег в палисаднике виден из окна кухни. А продукты уже не продаются.

Квартирanta после пожара на элеваторе перевели не то в полицию, не то в комендатуру. Там, видно, оказалось не хлебно и не сладко: он осунулся, сытый животик истаял, а глаза научились испуганно бегать, став от этого, странно, куда более живыми. Однажды сказал он матери:

— Шли бы вы, сударыня, работать. Доктора нужны, паек будет, а девчонка ведь ваша совсем никакая, в чем душа держится.

— Не ходи, — вскинулась Тонька, — еще чего!

Мать промолчала. Но наутро собралась и ушла. Тонька день проревела, вечером отказалась от принесенного матерью хлеба, но материнских слез вынести не смогла. Ночь они просидели в обнимку, две женщины, которым было ради кого жить. Плакали. Вспоминали далекое «до войны». Утром мать сказала:

— Пойду. Вернется Игорек, кто, кроме тебя, его встретит? Пожалей парня...

Город не жалели ни отступавшие, ни освободители. Игорь вспомнил вчерашнюю речь политрука: «Мешает забор — к черту забор, засел на чердаке снайпер — убрать вместе с домом. Здесь укрепрайон, мать вашу, соображайте!»

От города остались развалины. Видеть их оказалось страшнее, чем идти по минному полю, не глядя под ноги. И муторнее, чем доказывать окопавшимся на высотке ребятам, что он — свой. Но кое-где среди развалин копошились уцелевшие жители.

Игорь посмотрел на одолженные политруком часы. Отпустили его неохотно и ненадолго — только узнать про своих. Командир, видно, понимал, что можно думать, глядя на разрушенный город. И надо бы поторопиться, ведь каждая минута на счету, но — страшно.

Игорь перебрался через груды кирпича на перекрестке и установился, глядя на Тонькин дом. На единственную уцелевшую стену. На роскошную сирень в палисаднике и желтые ирисы. Господи, Тонька...

И ни уйти, ни во двор шагнуть.

Она шла навстречу, закусив губу и глядя под ноги, и вода из смятого с одного боку ведра выплескивалась кляксами на жаркий асфальт.

— Господи, Тонька! Да от тебя одни глаза остались.

Всхлипнув, Тонька поставила ведро. И молча уткнулась Игорю в плечо.

Часы отсчитывали последние минуты увольнительной.

